

Пролог

*Палермо, 1376 год,
перед экзаменационной комиссией
под председательством Диенкелеле*

Вот и я.

Предстаю перед вашим судом, как мне было велено.
Предписание явиться на экзамен мне вручили на закате.
В час трех звезд.

Я стала нерасторопной, доброй половиной тела опираюсь на эту палку. Давно не девочка: кожа обвисла, волосы поблекли и поредели. Руки сжимают шерстяную нить.

Если вы приглядитесь, то увидите, что на мне простое платье, без кружев. А сверху я надела фартук из конопляной ткани, в котором каждый день пропалываю огород. Чистый, хоть и потертый: хранит следы долгой жизни.

Не хотелось бы затягивать. Мне сообщили, что экзамен должен начаться в третьем часу. И все же я прошу дать мне время.

Позвольте, я немного поскриплю воспоминаниями.

Понимаю, вам хотелось бы, чтобы все прошло быстро, у вас тут нет места для прошлого. Ваша забота — поскорее с этим разделаться.

Выпроводить нас.

Виджу, здесь много народа. В ваши планы не входило слушать историю. Вам предстоит оценить множество претендентов. Некоторые из них родом из окрестностей древнего Дрепана. У других хриплое произношение жителей Панормо. Третьи прибыли с другого конца государства в надежде получить от вас лицензию на врачевание. Среди них многие — из семей, которые занимаются врачеванием годами. Кое-кого сопровождает стряпчий или законовед, который должен подмечать недочеты процедуры.

В помещении царит тревога. Запах слюны, пота, ожидания. мех на плащах, в которые укутались студенты, дрожит, выдавая их страх. В руках зажаты смятые перчатки.

Понимаю, как вы устали. Понимаю, что вам хотелось бы, чтобы этот день поскорее закончился.

Но время не сократишь и не растянешь — нам лишь кажется, будто мы им управляем.

Нет, время не приручить, а если нам вдруг покажется, что это так, знайте, что оно просто дарит нам миг передышки.

Так что послушайте.

Забудьте о своих темных аккуратных мантиях. Забудьте о воротничках, кисточках августейшего ордена, о знаках отличия, о своих лаврах. Я знаю, что перевязь, красующаяся у вас на груди, дарована вам за ваши заслуги. И золотые подвески, красующиеся на ваших шеях, — подарки короля.

Вы мудрые и справедливые судьи. На вашей груди, точно солнца, сверкают медали. Я знаю.

И все же молчите. Дайте мне время высказаться. Чтобы вы поняли.

Много лет назад, когда руки еще прекрасно меня слушались, а нос чувствовал запахи, от меня веяло смертью.

Не было такого больного, которого я не могла бы прочесть, высматривая на его теле буквы странного алфавита.

Мне говорили: «Ты так хорошо лечишь, Вирди-мура, прииди, полечи нас, даруй зрение этой слепой, верни разум нашим помешанным, отгони чуму». Всегда и всюду: в переулках, где несло нечистотами, или среди рядов вывешенного белья, нагретого солнцем. В ночи, когда вулкан, беснуясь, плевался раскаленными камнями. Или в спокойные, мирные дни, когда дождь накатывал внезапно, никак себя не предвещая.

Всегда и всюду я помогала им, хотя сама боялась куда больше, чем те, кого я лечила.

Но это вы знаете куда лучше меня, почтенные доктора. Медицина не требует храбрости.

Лишь навыка.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вирдимура

Глава 1

О моем рождении мне известно мало. Долгие годы оно оставалось тайной. Говорили, я родилась летом. В дурное и заразное время. Накануне шел дождь, земля источала тепло, оставляя на всем налет скверны.

Кажется, был Шаббат*¹, а звезды кружились вспять.

О моей матери мне сказали лишь то, что она была нечистой и что, когда упали первые капли дождя, она посмотрела на меня. «Дочь», — сказала она, не успев призвать Господа воинств.

Она мучалась уже два дня. Она дышала, дабы облегчить мне путь. Она хотела, чтобы мое рождение стало настоящим явлением. Чтобы я пристала к берегу на корабле, полном надежд. Ей не понравилось, что во время родов кто-то засунул ей в рот тряпку, желая облегчить ее усилия. Мать не любила бежать от страданий. Обходить стороной то, что ранит. Тот, кто пришел в эту жизнь, должен принимать все: ночь, смерть, надежду, пророчество.

¹ Здесь и далее значения слов, помеченных звездочкой, смотрите в глоссарии на с. 239.

Так она говорила мне, чтобы я понимала, что осталось совсем чуть-чуть: «Еще одно усилие, дочка, почти готово, не бойся, я с тобой».

Повитуха никогда не видела такой стойкой женщины. Она помогала многим перепуганным роженицам, которые проклинали Господа ошеломляющего. Среди них были женщины разного возраста. Совсем юные, у таких — молодые, неопытные тела. Или рожавшие уже много раз, чьи мускулы уже привыкли к потугам. Но все они замыкались на собственном теле, на подходящей схватке, на продолжительной волне тошноты, сопровождающей каждое усилие.

Моя же мать думала обо мне. О моих ногах, молодящих воздух, об округлых ладонях, которые она уже представляла окрашенными хной — на счастье. Она воображала мою голову: волосы, заплетенные золотом. Божество, которое вмешивалось и вызволяло меня. Мой запах. Мои губы, распухшие от сосания молока.

Когда же наконец я появилась, из ее горла вырвался хриплый, совсем не птичий крик, крик радости, крик прощания, крик единения с тем, что она пережила и что испытала до меня.

Затем она закрыла глаза и ушла так легко, что повитуха подумала, будто она уснула.

Меня приложили к ней на несколько минут, достаточных, чтобы биение наших сердец слилось, кожа прижалась к коже и я почувствовала ее вкус.

Меня передали в руки отца, от которого пахло ветром.

Он крепко прижал меня к себе. Прошептал мне в ухо слова тех, кому суждено выжить. Он взывал и к смерти, и к жизни. Благословил Всевышнего за то, что он взял, и за то, что оставил.

Когда мою мать заворачивали в саван, он прошептал: «Прощай, душа моя, лети к Создателю», и написал мне на лбу «Сидур сфат анешама» — будь благословенна, возлюбленная дочь, ибо благодаря тебе нам выпало на долю это мгновение.

*

То был 1302 год.

Катания была самым прекрасным городом на земле. Многолюдным. Бурлящим. Евреи, мусульмане, арабы, христиане — в нем были все. И никто не говорил на одном языке, все так или иначе употребляли понемногу все наречия. Мы понимали друг друга с улыбкой, с любовью, с ненавистью. Порицая или призывая чужого Бога.

Моего отца не волновало, чей Бог важнее, как то предписывали законы, он думал, что Бог придет на помощь любому. Он не жаловал тех, кто хотел все расставить по местам. Он любил людей неблагоразумных,

запутавшихся, вольнодумных. Для него не было различий между людьми, как и между больными. Любой, кто чувствовал боль, будь то в теле или в душе, заслуживал его внимания. Он не ждал, пока страждущие придут к нему. Он сам ходил по городу, опережая их.

Катания металась между огненной горой и морем. Город походил на огромное истерзанное животное, на усеянной вулканическими камнями спине которого трудился в муках людской род. Меж руинами римских терм и театром сгрудились торговцы, шайки проходимцев, солдат, наемников. Кто-то собирал налоги, кто-то мыл лошадей у источника или в порту. В тамошних тавернах трактирщики ругались с каталонцами, которых ненавидели, считая, что они могут сглазить. Вокруг дворов вились узенькие улочки, где женщины отдавались просто так или по любви. Были там и безымянные площади, как, например, «платеа манья», с одной стороны упирающаяся в башню собора, а с другой — в здание суда, Лоджу деи Джурати, вокруг которого крутились золотых и серебряных дел мастера и стряпчие.

Любой, кто работал или учился, распределялся в соответствующую страту, ревностно охранявшую свои привилегии. Так, например, в страте цирюльников числилось пятнадцать человек, и они имели право стричь и приводить в порядок бороды всем, за исключением евреев, турок и тех, кто проживает в верхних регионах

Тринакрии², за Неаполем. Королевские парфюмеры могли продавать травы и изготавливать любые отвары, кроме рвотных или вызывающих удушье, за исключением тех случаев, когда такие отвары нужны были для убийства врагов. Хирурги (которые, однако, почитались ниже докторов) и мясники имели право вскрывать вены и делать теплые ванны.

Но никто из них, решительно никто — подвергались ли они гонениям или имели знаки отличия, — не мог проникнуть за стены, где открывались шесть дверей, за которыми рос странный пряный мох, из которого мой отец — маэстро Урия — делал снадобья.

Склонившись над камнями, он сковыривал мох медным ножом. Нюхал. Собирал, смешивая с водой и слезами. Он говорил, что три элемента — камень, трава и лава — способны излечить тело. А вот слезы излечат сердце.

Он был самым молодым врачом еврейского квартала, мой отец. Он получил лицензию всего в двадцать лет. Он был на редкость высок. Глаза грека, лоб еврея.

Если бы вы его видели, почтенные доктора.

На нем были надеты тфилин*. Густые брови хмурились от солнечных лучей. Когда он шел, его взгляд

² Тринакрия — королевство, существовавшее в Средние века. Включало в себя Сицилию и Южную Италию. — *Здесь и далее прим. пер.*

следил за Полярной звездой, он утверждал, что под ней лучше чувствует счастье. Но он никогда не забывал о земных скорбях, потому что они были частью всемирного языка, некой идиомой, в которой сосуществовали и дети, и старики, и животные.

Мой отец свободно говорил на арабском, арамейском, сицилийском. Читал стихотворения Данте Алигьери, и — хотя и не был христианином — гимны отца Франциска.

То, что подобное чтение — одна из составляющих врачебного искусства, он усвоил еще в юности, когда был боязливым и осмотнительным. Он схватывал знания везде, где только мог: на улице, из разговорного языка, из поэзии. Все казалось ему частью ширящейся родины.

Когда он шел по улицам, женщины украдкой поглядывали на него. Они перешептывались, разглядывая его большие руки, умевшие управляться с ланцетом, точно с кистью. Мечтали о горячих встречах. Смачивали губы в надежде заполучить поцелуй. Улыбались, пересмеивались и лишь ради приличий отворачивались.

Но все хотели Урию, самого высокого еврея, самого сильного, святого. Который умел и вправить сломанную бедренную кость после падения с лошади, и усмирить одержимого.

После благословения отец решил не давать мне имени.

Он сказал: «Нареку ее, когда увижу знак».

Он думал, что давать имена означает распознавать их в знаках.

Так он решил, когда впервые взял меня на руки.

Мать еще лежала на постели, сквозь саван просматривались очертания ее лица. Согласно нашим законам, к ней нельзя было прикасаться, ее нельзя было поцеловать. Целовать еще неомытых покойников считалось нечистым. И нечистым считалось говорить с мертвыми.

Урия приподнял талит* и долго гладил ее, сплетая нежные слова. Он обещал ей, что в моей жизни будет все, что он считал важным, что я буду воспитываться среди читающих, любящих, страдающих людей. Он напомнил ей, почему родилась она сама и почему я появилась на свет: чтобы стать близкими существами, несущими в себе тайну. Быть путниками посреди роз. И сказал ей: «Я чувствую твое сердце, хоть оно и не бьется».

Потом он обещал ей, что я не получу случайное имя, имя без судьбы. Что он будет его искать. Искать среди дорог. В кратерах вулканов. Босиком. Раскинув руки.

Словом, он взял время подумать. И когда священники торопили его — Урия, когда уже ты принесешь девочку

в храм? Вспомни закон, не забудь об омовении, ведь ее мать умерла! — он даже не отвечал.

знаком может быть что угодно, говорил отец. Нужно было только подождать, и он не ускользнул бы.

Он был на короткой ноге с морем и с ветром. С лунным лучом и с затмением. Никогда не пропускал ни хромого голубя, ни раненой чайки — вестника перемен.

Он, Урия, стоял, растроганно вслушиваясь в слова, которые летели к нему вместе с палой листвой. Вместе с колыханием озерных вод. Со взъерошенных верхушек лавровых изгородей. Утром он вставал затемно и хранил молчание, слушая возню муравьев на хлебной корке. Полет ласточки, пространный, сияющий. Трепет бабочек. Плач жаворонка.

Вокруг человека и его страстей существовал огромный трепещущий мир. Его можно было обнаружить в морской воде, в глазах собаки, в библиотеках разных стран мира. Он был. Молчаливый. Благотворящий.

Вот почему Урия нашептывал больным, что нужно стать частицей святого таинства природы, невинной и безмятежной, покорной и избавляющей. Стойте на траве, говорил он. Стойте на песке, на земле, среди соцветий шафрана.

Священники молчали, но заносили его слова в книгу.

Слишком уж далек от закона был этот Урия — лекарь, рассуждающий о болезни как о путешествии. Не слишком-то веривший в традиционную медицину.

К тому же у него не было строгого метода. Да и больных он выбирал совсем неподобающих. Шлялся по ночам в корабельных трюмах, на улицах, где работали проститутки. Его видели с гребцами турецких каиков*. Среди неверных, врагов Земли Авраама. Поговаривали, что он даже не требовал никакой платы, пренебрегая священными законами. И бродил по «грязным» местам, которые имелись, несмотря на то что правительственный указ ясно предупреждал: «Никто не имеет права совершать захоронения и избавляться от останков вокруг городских стен, загрязнять луга и дороги вокруг города и вблизи городских ворот».

Сомнения возникали и тогда, когда Урия ставил диагноз. Например, сколько шуму было, когда он вылечил подагру мастера Аккурсио, занимаясь вовсе не ногами, а глазами. Или когда он избавил нотариуса Франчисканаву от навязчивых мыслей, заставив его танцевать. На глазах у удивленных родных Урия протянул ему руку и пригласил на танец. Встав напротив, он велел ему надеть плащ для праздника. Потом принялся напевать мелодию мадригала и повел его в танце, крутя пируэты, хлопая в ладоши и радостно крича. Нотариус хохотал. А потом плакал. Он начисто забыл о своем прошлом. Проснувшись на следующее утро, он хотел петь.

Отец уверял, что лечить ему помогали не только растения. Но и музыка. Ритм. Купание в море. Разговоры с поэтами. Наблюдение за звездами.

И говорил смеясь: «Ведь если так посмотреть, кто сможет сказать, от чего зависит выздоровление?» Он видел здоровые тела, в которых душа еле теплилась. И нетронутые души в искореженных телах. Но это не позволяло ему утверждать, что создания Божьи состоят из нескольких сущностей и врачевать только одну из них. Потому что на самом деле они были едины, как и небесная сфера, что покрывает мир, да будет благословенна она вовеки! Стало быть, призвание врача лишь понять и обнаружить это единство.

А потом, почтенные доктора, пришел тот день, когда у меня появилось имя.

Это случилось у городских стен.

Урия поднялся чуть свет и отправился за мхом. Он прихватил меня с собой, привязав себе на плечи. Выходя из дома, он сказал кормилице: «Если захочет есть, дам ей пососать палец».

Он тихонько завернул меня, покуда спящую, в одеяла. Ему нравилось смотреть на меня, когда я была спелената или сосала кусочек ткани, смазанный медом. Я была внимательной девочкой, мне нравилось наблюдать, как парит сокол, или слушать стрекотание цикад. Когда отец намывал меня морской губкой, я смотрела в другую сторону, привлеченная неуловимыми звуками, тем, что вечно пребывало меж рождением и смертью.

Ковыряя мох ножиком, отец заметил, что я проснулась, но я не плакала, а внимательно, точно замороженная, смотрела на стену.

Урия взял меня на руки и поднес к зеленой стене, чтобы я могла почувствовать запах, исходящий от камней; воздух, пропахший вулканом; аромат цветов, проклюнувшихся из лавы. Тогда он сказал: «Ну вот и ты наконец. Стойкая, как стены Катании. Свежая и зеленая, как этот мох, цветущий прямо в камне.

Будь благословенна, любимая дочка.

Я назову тебя Вирдимура³».

*

«Это еще что за имя? — тут же загудели священники. — Такого дочери Рахили еще не носили, оно сулит тебе беды и несчастья, осторожней, Урия, берегись морока и фантазий!»

Но мой отец оставался непреклонен и отвечал так: «Ее будут звать так, решение принято. Да начнется торжество зевед абат*».

И праздник начался.

³ В имени героини заложены два корня со значениями: verde — «зеленый», тиго — «стена» (ит.).

Урия разослал приглашения, он решил устроить пиршество под рыночным портиком, позади рыбных рядов. Его выбор пал на вечер, чтобы в небе уже виднелась вечерняя звезда. Ему не хотелось пышных залов, устланных коврами, с гобеленами по стенам и ладаницами. Он терпеть не мог узкие и длинные бифории*, из которых невозможно выглянуть и почувствовать на себе лунные чары. Вокруг отца стала собираться толпа.

Священники не умолкали: «Кто все эти люди, Урия? Многих из них мы прежде не видали!»

Но отец сохранял спокойствие. Он пригласил на торжество всех больных, которых лечил, не требуя платы. Беззубых портовых рабочих, старух-проституток и прочих бедняг, у которых не было ни гроша, но которых он хотел сытно накормить.

Он не хотел, чтобы с ними рядом оказались знатные люди. Вместо них были уличные певцы, ремесленники, трюкачи. Музыкантами тоже были его друзья-калеки, которые принесли цимбалы и кастаньеты. Дичь для праздника подарил один мясник, которого отец вылечил от хвори много лет назад. Он принес зайцев, полевых птиц, фазанов. Были еще салаты, цитрусы, панакота. Курица, фаршированная миндалем и вымоченная в молоке со специями, что подавалась с чесночной подливкой и соусом на основе изюма и уксуса.

Священники только руками развели. Есть это никак не годилось, еще Моисей запретил такое.

Но отец улыбался и не слушал. Он говорил: «Пусть играет музыка. Пусть наливают вино с предгорьев Невроди и подают сиракузскую рикотту. Пусть танцуют. Отведайте этих угрей в оливковом соусе! И этот хрустящий дрожжевой хлеб с отрубями. Отведайте диких трав — тут одуванчики, руккола, цикорий и кейл. Я сам собрал их для вас на рассвете. Проходите, дорогие друзья, познакомьтесь с моей дочерью».

И священники нехотя бормотали:

«Благословивший наших матерей — Сару и Ревекку, Рахиль и Лию, пророчицу Мириам, и Авигею, и царицу Эсфирь, дочь Авигеи, — благослови и это возлюбленное дитя, и да будет ей имя в Израиле Вирдимура».

Глава 2

У меня никогда не было учителя. Мой отец сам объяснял мне все, что знал. Научил писать и читать, научил, что неизлечимому больному нужно улыбаться, а излечимому — петь.

Для этого не отводилось какое-то определенное время, не разделял отец и исследование мочи или наблюдение за звездами. Иные фекалии — точно созвездия, объяснял он, говорят нам о теле, но узнаем мы и о состоянии души. Не нужно их трясти, дай им самим показать хвори, неполученное прощение, кровоточащие раны.

Мне было пять, когда я впервые сама наложила швы. Смотри, сказал Урия, рана просто хочет, чтобы к ней отнеслись с лаской. И он соединил два края раны и прижал к ним теплые травы. Затем подул на них и прошептал: «Омец. Смелей».

С утра начиналось мое обучение на природе. Отец водил меня по непроторенным тропинкам и показывал лекарственные растения. Видишь? Вот эвкалипт. Им лечат простуду, бронхит или астму. Но из него можно

сделать и благовоение, чтобы проводить усопшего. А вот мальва, из нее делают молочко для тех, кто не может позабыть о своих врагах. А это аконит клобучковый, его используют при горячке, вызванной перегревом или переохлаждением. Но с ним будь осторожна: если дать слишком много, человек может умереть, вот почему его еще называют дьявольским корнем.

Когда солнце начинало припекать, мы останавливались, пили из фляги воду с корицей, отец укладывал меня на землю, чтобы я прислушивалась к движению земли, перегонам ветра, хлопанию облаков. Разве не видишь, что мы движемся? Что мы ведомы небесными и земными телами?

Нет, я не видела никаких тел, где же они? Жизнь казалась мне таинственной и страшной, точно разбойник, готовый вот-вот наброситься на нас.

Затем отец сажал меня к себе на плечи и нес так до самого дома. И мне не был страшен никакой разбойник. Нужно было веселиться. Потому что тот, кто грустит, вредит дыхательным органам и придется ему варить себе фиалки в чистом вине. А потом надо добавить галангу и лакрицу — только так получится избавиться от тоски и восстановить легкие.

Вот почему Урия постоянно выглядел жизнерадостным, всегда был деятельным. У него вечно находился повод, чтобы смеяться, когда вокруг голод; терпеть, когда вокруг горе; и благодарить, когда вокруг боль.

И если я спрашивала, что за повод, он только улыбался. И не объяснял. Лишь говорил: «Сама поймешь».

И мы снова принимались искать. Особенно его увлекали смолы. Он читал и Геродота, и Теофраста, и потому знал, что мирру и ладан стерегут невиданные змеи. Это означало, что они священны, что они могут обратить конец и начало. Помни, говорил отец, если смешать ладан с маслом, можно спокойно выспаться, тревожные сны отступят. А если ладан смешать с мукой, то можно сделать маленькие булочки, и если приложить их к вискам, то забудешь все невзгоды.

Я, как могла, старалась запомнить все: названия растений, средства от хворей, буквы. Последние были одним из особых увлечений Урии. Он считал, что буквы — это символы, на которых держится мир. И он вел меня к линии прибоя. И рисовал палочкой на песке разные слова. А когда накатившая волна не оставляла от них и следа, говорил: «Видишь? Думаешь, море все уничтожило?»

«Да», — грустно отвечала я, и мне казалось очень сложным принять эту потерю.

Тогда он велел мне прикоснуться руками к песку. Он еще немного проседал там, где были буквы — теплые останки слов, которые начертал отец.

«Нет, — говорил он. — Ничто не исчезает бесследно».

С этими словами он снова взваливал меня на плечи и нес по Освещенной улице, туда, где возвели больницу

святого Марка. Отец бродил меж больных, останавливаясь, чтобы поговорить с ними, выслушать их жалобы, пожать их руки. Вздыхал. Ему казалось, что закрывать больных на время лечения неестественно. У отца существовало шесть правил выздоровления: *lux et aer* (свет и воздух), *cibus et potus* (пища и питье), *motus et quies* (движение и отдых), *somnus et vigilia* (сон и бодрствование), *secreta et excreta* (секретция и выделения), *affectus animi* (переживания и чувства).

Потом он шептал мне: «Запомни. Если больной на грани жизни и смерти, спроси, что ему снилось. Если ты уверена, что он идет на поправку, спроси, на что он надеется. Лечи, ориентируясь не на тела, а на горести больных. Лечи, но не игнорируй трудности, смотри на то, что скрыто, а не на то, что очевидно. И если они излечатся, говори, что они выздоровели сами. А если умрут, скажи родным, что всему виной твоя неграмотность. Принимай вину на себя и позабудь о своих заслугах, но самое главное — люби их, дочка».

*

Так я повсюду следовала за отцом, куда бы он ни шел. По самым узким улочкам самых бедных кварталов. В прачечные, где женщины задыхались без воздуха или бились в горячке от испарений. В грузовые отсеки

судна, где кормчие страдали от дизентерии или стонали от ужаса при мысли о твердой земле.

Однажды он привел меня к слепым, закрытым в какой-то комнате, где они беспокойно бродили, натываясь на стены. Отец успокоил их, приложив к их глазам топазы, которые всю ночь вымачивал в красном вине. Урия объяснил мне, что этот камень помогает прозреть внутренне. Ведь если они не могут разглядеть ничего вокруг, учил меня отец, пусть хотя бы посмотрят внутрь себя.

В другой день отец нарисовал на стволе дерева четыре типа физического состояния человека: сангвинический, флегматичный, меланхолический и холерический. Он сказал, что эти типы могут сосуществовать в одном теле и сменяться в течение дня, то усиливаясь, то утихая. В первые утренние часы в человеке господствует кровь, в полуденные часы — желчь, в первые три часа после обеда преобладает черная желчь и в последние три часа бодрствования — лимфа.

В другие дни отец учил меня ставить диагноз, считать с тела знаки, которые помогут понять причины страданий, учил, как распознавать нужные приметы.

Мой отец умел видеть хворь издалека. Печеночную болезнь он мог отличить уже по глазам. Как и хвори детей, что родились с хвостами и выли на луну. Но были и тихие недуги, которые прятались и упорно не хотели с ним говорить. Наконец, были самые убогие хвори: безумие, уродства, немота, лунатизм.

И их, почтенные доктора, отец любил особенно.
Потому что, кроме него, они никого не интересовали.

*

Вот почему моего отца призывали все: евреи, христиане, мусульмане. Он никогда и никому не отказывал.

И хотя в 1310 году королевским указом Фридриха III Арагонского евреям было запрещено лечить христиан, если христианину было невмоготу, Урия кивал мне, и я шла за ним, подхватывая на бегу котомку с инструментами.

В этом кожаном мешке с многочисленными карманами и отделениями можно было найти все что угодно. Увеличительное стекло, которое отец использовал, чтобы заглянуть в горло больному. Полую иглу для удаления катаракты, которую отец сделал сам по описанию из арабского манускрипта авторства Аммара ибн Али. Слабительное из сухофруктов и розовых лепестков, освобождающее кишечник от излишков и голову — от дурных мыслей.

Там были и зубные инструменты, эликсиры, дарящие радость, нож для отделения костного мозга и колбочки для сбора слюны.

Еще у отца было специальное кольцо, чтобы надувать прекрасные мыльные шары, но это, почтенные доктора, не для лечения, а чтобы порадовать умирающих.

Напомнить им перед кончиной, что они потеряют лишь вес тела, но не красоту души.

Глава 3

Мы жили у моря. Отец никогда не хотел жить в джудекке, еврейском квартале. Слишком узки были тамошние улицы. Слишком редкому солнечному лучу удавалось туда добраться.

Солнце — лучший доктор, говорил отец. Оно может избавить от лихорадки, от перепадов давления и от тоски. Оно отгоняет глистов. Распрямляет кости.

Вырастить ребенка без солнца никак не возможно.

А в джудекке было сыро. Квартал делился на две части: Джудекка Сопрана и Джудекка Суттана, где размещался большой рыбный рынок. Квартал находился в болотистой местности, потому что рядом текла река Аменано, почти все жители джудекки страдали сонной болезнью*.

Вот почему Урия построил наш дом у оросительных каналов, в так называемой сайе, сделал мне качели, для себя — лабораторию, а также большой жернов, которым можно было раздробить любой камень.

С первых лет жизни я стала изучать свойства камней.

Гелиотроп полезен во время женских кровотечений, менструального цикла. Целестин помогает вновь обрести счастье. Белый кварц дарит беспечность. Бирюза пригодится, если нужно развязать язык. Сердолик охотно используют артисты, потому что он подгоняет фантазию. Ну а если человек потерял любимого, остается единственное средство — цитрин, камень, который помогает жить настоящим.

*

Наш дом не был похож на остальные.

Кроме качелей и жерновов, всем не давала покоя лаборатория, где отец препарировал трупы, изучал расположение артерий и тщательно фиксировал на пергаменте все открытия, которые дарило ему человеческое тело.

Лаборатория Урии была комнатой для раздумий и опытов.

У одной стены стояла койка, на которой он оперировал хирургическими инструментами, следуя учениям Герофила и Эрасистрата, которые, препарируя трупы, первыми узнали о нервной системе и строении мышечной ткани.

У другой располагалась библиотека, труды античных мыслителей; впрочем, среди них не было ни одного разрешенного издания, которыми следовало пользоваться

в медицинских школах нашего королевства. Урия обращался к текстам раввина Елисея, сарацинского врача Абдуллы Алеппского, грека-византийца Понтия, а также Салернуса, ученого-эрудита из Салерно⁴. Всех четверых священники не одобряли, поскольку их учение противоречило медицинским советам царя Соломона.

Рядом с книгами находилось рабочее место, где отец записывал свои наблюдения, рисовал человеческое тело и постепенно разбирался в том, как оно работает. Некоторые органы он хранил в сосудах, наполненных вином, — так их можно было изучать даже спустя несколько месяцев.

Священники кричали, что он совершает святотатство, ибо считалось, будто от прикосновения к мертвому человек становился нечистым. А хранить у себя части тел было незаконно.

Но мой отец был глух к их упрекам. После того как посетители удалялись, он закрывался в лаборатории и иногда пускал меня к себе. Он надевал на меня защитную повязку, давал льняные перчатки и показывал внутренние органы.

Вот желудок, он хранит все наши переживания, говорил отец. Не стоит держать злобу внутри, переварить такое ему не под силу. А вот безнадежно влюбленное

⁴ Все четверо упоминаются как отцы-основатели Салернской врачебной школы (IX век).

сердце — он называл его холе ше эн бо сакана, сиречь тяжким больным. Отец показывал мне женские лона, где зарождались и росли дети; и дыхательные органы, раскрывшиеся веерами, которые он именовал легкими; не стыдился отец и срамных мест, показывая мне канал, по которому шла мужская семенная жидкость, и мужской половой орган, который, Вирдимура, никогда не стоит использовать лишь для удовольствия, но только во имя любви, ибо велит нам первая заповедь: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.

Но чаще остального Урия показывал мне складки человеческого мозга: органа, в котором зреют мысли, сознание, мечты о будущем. Отец подхватывал щипцами шейную петлю — и рука мертвеца поднималась и падала, резко вздрагивая, заставляя меня застыть в ужасе.

«Он воскреснет, папа?» — спрашивала я.

И отец грустно отвечал: «Нет, дочка, это лишь знак того, что всякому человеку приходит конец, хоть он всю жизнь и стремится к бесконечности».

Тогда я еще не понимала, что это значит, и цеплялась за отцовскую ногу, которая казалась мне единственным твердым оплотом посреди бренного мира, и комната передо мной точно пульсировала, играя цветами: чернота волос мертвеца сменялась желтизной солнечного света, бившего в окна.

Затем отец шептал заупокойную молитву, обмывал покойника и обряжал его в талит. После он зажигал

свечи, приговаривая: «А Маком йерахем алева бетох
холей Исраэль, да помилует тебя Вездесущий вместе
со всеми больными в Израиле».

То был первый день лета, почтенные доктора. И все
вокруг уже молило о милости.

